Алексей Воронков

Алексей Алексеевич Воронков родился в 1947 году в селе Ромны Амурской области, окончил Уссурийское суворовское военное училище и Иркутский институт иностранных языков. Преподавал английский в школе посёлка Токур Селемджинского района, в педагогическом и медицинском институтах города Благовещенска, работал в газетах. Член Союза писателей России. Автор многих книг рассказов, повестей, романов, стихотворений и поэм, изданных в Благовещенске и в Москве.

«Груз 200»

Памяти моего однокашника, выпускника 1966 года Уссурийского суворовского военного училища Олега Кричевского, погибшего в Афганистане в 1987-м. К сожалению, не знаю всех подробностей его гибели, поэтому этот рассказ не конкретно о нём — это знак нашей боли и скорби о всех, не вернувшихся с той войны.

Филиппов, многообещающий режиссёр местного драмтеатра, случайно тогда попал на училищный плац, где выпускники, переодевшись в полевую форму, яростно и воодушевлённо демонстрировали зрителям приёмы рукопашного боя. Его настолько изумила отточенность действий бойцов, что ему захотелось узнать, кто тот человек, который сумел так мастерски поставить эту сцену. И это был не праздный интерес — режиссёр в ту пору как раз примеривался к новой пьесе, где была парочка батальных сцен. Только он с самого начала знал, что поставить их ему будет довольно трудно — для этого нужен был спец, ну а он, Филиппов, был до мозга костей человеком гражданским, и ему никогда не приходилось даже издали наблюдать настоящий бой. А тут вдруг такая удача. Оставалось уговорить того неизвестного инструктора взять на себя роль одновременно военного консультанта и постановщика боевых сцен спектакля.

Так он и познакомился с подполковником Казанцевым, который, немного поколебавшись, всё же откликнулся на предложение режиссёра.

После первой репетиции режиссёр пригласил Казанцева в театральный буфет выпить коньяку — за начало их совместной работы. Выпив по паре рюмок, разговорились. К этому располагало всё: и появившееся не вдруг приятное теп-

ло в животе, и тишина в фойе, где находился буфет, и мягкие удобные кресла. Да ещё этот тонкий аромат сигарет, которые им подала буфетчица тетя Рая.

— Говорят, вы воевали?.. — обращается к подполковнику Филиппов. И непонятно было, то ли это был вопрос, то ли просто желание каким-то образом завязать с этим малоразговорчивым воякой диалог. А то, что Казанцев и впрямь не отличался многословием, это режиссёру стало понятно с первых минут их знакомства, когда на все вопросы Филиппова тот отвечал односложно. Вот и на репетиции он больше показывал артистам, что и как они должны делать, чем говорил.

— Было дело… — как обычно скупо отвечает подполковник. Его худое скуластое лицо немного порозовело после выпитого и приобрело живой вид. А ещё недавно оно выглядело пустым и сумрачным, как неудавшийся портрет из камня.

Филиппов к своим сорока уже научился разбираться в людях, равно как и понимать их внутреннее состояние.

— Знаете, — говорит, — вот смотрю я на вас и не пойму: то ли вы по природе такой замкнутый, то ли вас постоянно что-то мучает. Или я ошибаюсь?.. Нет, наверное, всё-таки я прав… И виной тому, наверное, ваша профессия, не так ли? Что ж, всё правильно: армия — это тебе не тёплый кабинет гендиректора шоколадной фабрики, здесь ты в постоянном напряжении… Хотя, может, это война?.. Может, это она не даёт вам покоя? Я знаю, те, кто воевал, долго потом живут прошлым... Кстати, скажите, сколько вам тогда было лет?

— Не понял?.. — вопросительно глянул на него вояка и неожиданно подивился, насколько тот молодо выглядел. Круглое благополучное лицо режиссёра украшала модная трёхдневная щетина, а глаза лучились не омрачённой ничем радостью. У стариков и у нездоровых людей глаза обычно погасшие, бесцветные, а тут такая разлившаяся полноводная синева. И волос, этот густой смолистый волос, схваченный на затылке в пучок, ещё не познал седины. Не то что у Казанцева, голова которого совсем уже белая. А ведь они примерно ровесники. Видно, прав этот местный Станиславский — всему виной война. Она и состарила его раньше времени, и душу ему выстудила. Она и во сне его преследует, и тогда, когда он занят делом. Тот последний бой, в котором погибла почти вся его рота, до сих пор для него не кончается. Только забудется, только чуток придёт в себя, а тут — раз! — и снова они с пацанами поднимаются в атаку. И падают, падают, сражённые пулями. Да когда ж это кончится? Или он так и будет всю жизнь мучиться угрызениями совести, считая себя виновным в смерти бойцов? Мысленно оправдываясь перед их матерями, умоляя их простить его, каясь и, в конечном счёте, сходя с ума. Правда, все эти чувства он пытается скрыть от сослуживцев, иначе бы его давно уже списали в запас. А куда он пойдёт, если он только и умеет, что водить людей в атаку? Ведь его биография проста, как у сапёрной лопаты черенок. Школа, училище, войска… И больше ничего. Ни-че-го!

— Я спрашиваю, сколько вам было лет, когда вы отправились на войну? — выпуская изо рта колечки дыма, уточняет свой вопрос режиссёр.

Казанцев на мгновение задумывается.

— Где-то лет двадцать… С хвостиком, — добавляет он. — Ехал принимать взвод, а тут ротного убили — пришлось занять его место. Комбат ещё тогда пошутил: видишь, мол, как тут легко сделать карьеру. Глядишь, завтра и батальон принимать придётся. А что? Вот убьют меня — и вперёд… Так вот всё и выглядело тогда. И звания, и должности сыпались как из рога изобилия.

Подполковник нервно затягивается сигаретой.

— Ну и какие впечатления у вас от той войны? Говорят, зря мы её начинали, — попросив буфетчицу в очередной раз наполнить стоящие перед ними рюмки, задаёт вопрос режиссёр.

Казанцев усмехнулся.

— Война — это не спектакль, чтобы впечатляться, — жёстко произнёс он.

— Да ну? А Шекспир говорил, что мир — это театр, и мы все в нём актёры.

Филиппов намеренно пытается разбередить душу собеседника, а для чего — и сам пока не знает. Скорее всего, это у него получается машинально. Так он поступал со своими актёрами, когда хотел, чтобы они обнажили свои чувства и принялись вживаться в роль.

— Может быть… — сухо отреагировал Казанцев. — Я не привык с классиками спорить.

Филиппов смеётся.

— Ещё бы! Попробуй их переспорь, если за ними стоит слава. Да что там — сама история. — Он делает маленький глоток из своей рюмки, подносит к губам сигарету. — А вас, как я погляжу, обошла слава, — с этаким бесцеремонным прищуром смотрит он на собеседника. — Да и история от вас отвернулась. Только и слышно: мы вас на эту войну не посылали, так что не надо звенеть своими медальками и качать права.

Подполковник, услышав эти слова, поморщился.

— Лично я льгот себе не требую, — проговорил он. — Для меня главное, чтобы мне в душу не плевали. И вообще, я хочу забыть обо всём.

— А это возможно? — спрашивает Филиппов.

— Вряд ли, — секунду подумав, говорит подполковник. — Мне мои пацаны в мозги стучат, когда я о них забываю. Так стучат, так стучат…

Режиссёру понравилась метафора.

— Вы это про убитых?

Ответ не последовал. Помолчали.

— Знаете, полковник… — начал было режиссёр, но Казанцев перебил его:

— Я не полковник, а всего-навсего подполковник…

Филиппов улыбнулся:

— Какие ваши годы! Ещё и полковником будете.

— Да нет, полковником мне не бывать, — говорит Казанцев. — Что так? А вот так! Для этого академия нужна, а меня туда не приняли. Комиссию медицинскую не прошёл. Видите ли, служить я могу, а учиться в академии мне не можно. Кутузов с одним глазом армией командовал, а у меня всего-то пуля ключицу раздробила. Но ведь это мне не мешает ручку в руках держать, да и воевать не мешает.

Филиппов кивает в знак согласия.

— Если б вы не сказали про ранение, я б ни за что не догадался. Видел я, видел, как вы моих бедных артистов через бедро бросали. Нет, право, бюрократия наша бессмертна. Видно, блатного нужно было на ваше место пристроить. Знаю я эти штучки… Я и сам в Москве пробиться не смог, хотя коренной москвич. У меня ведь нет дяди, великого режиссёра, и в Минкульте у меня знакомых нет. Так что пришлось ехать на край света.

Казанцев усмехнулся.

— Для вас, москвичей, всё, что находится за Садовым кольцом, — этот самый край земли. А по мне так провинция вообще не является категорией географической — только духовной. Я тоже не здешний, однако Сибирь не считаю глухоманью. Вы читали Астафьева?..

— Да читал я, всё читал, — морщится режиссёр. — Но так уж у нас повелось, что хорошую карьеру, будь то учёного, писателя или артиста, можно сделать только в Москве. Какой-то централизованный идиотизм получается. Но ведь не могут все люди уместиться в одном городе, пусть даже это огромный мегаполис. Вот и выходит, что государство наше несовершенно… Поэтому и жизнь нашу справедливой назвать нельзя. Какая же это справедливость — без предоставления людям равных возможностей?..

Он умолк. Но молчать Филиппов долго не умеет, потому что вся его жизнь заключается в словах. Иначе бы он не был режиссёром.

— Знаете, полковник… — Он опять пытается повысить Казанцева в звании. — Честно вам признаюсь, мне едва ли удастся на этот раз поставить что-то путное. Я про спектакль… Это то же самое, как если бы писатель, который не нюхал пороха, вдруг взялся бы написать правдивую книгу о войне. Ну не могу я врубиться в эту тему, не могу!.. Одно дело посмотреть кинофильм про войну, другое — увидеть всё собственными глазами. Да, материал прекрасный, но я его не могу пережевать. Как говорится, не по Сеньке шапка. В этой пьесе, как вы, наверное, поняли, речь идёт о том…

— Да что тут непонятного? — не даёт договорить собеседнику подполковник. — Была война, но герои пьесы всё никак не могут вернуться с неё… Потому что она то и дело напоминает им о себе. И их мысли по-прежнему ТАМ…

— Вот-вот, именно ТАМ!.. Но почему? Этого мне не дано понять, потому что я ТАМ не был. Это гении могут интуитивно чувствовать психологию той или иной эпохи… Да, порой мне что-то удаётся, когда мне близка тема пьесы, но здесь война, здесь незнакомые мне переживания. А врать-то нельзя! Кто-то потом, может, и поверит мне, а если на спектакль придут такие, как вы, — что тогда? Вот и выходит, что мне не нужна имитация правды, мне нужны подлинные переживания. А где их взять? Ни я, ни мои актёры ни сном ни духом о войне. Да, батальные сцены вы нам поставите, но это ничто без психологического рисунка спектакля. Ну а где нам взять этот психологизм?

Казанцев, кажется, с интересом слушает режиссёра. Выслушав его монолог, кивает головой.

— Согласен, — говорит он. — Врать на сцене, как и в жизни, грешно. Что ж тогда делать?

— Вот и я не знаю, — вздыхает режиссёр. — А может… — К нему в голову вдруг приходит какая-то идея. — А что если вам поговорить с артистами?.. Я думаю и им, и мне не помешало бы живое слово участника тех давних событий. Вас это не затруднит?.. Ну что вам стоит рассказать пару-тройку эпизодов из своей фронтовой жизни? Я правильно говорю?

Подполковник неожиданно меняется в лице. «Что вам стоит рассказать пару-тройку эпизодов…» — повторяет он про себя — и кровь приливает к его лицу. Эх, знал бы ты, друг ситный, что такое для меня ворошить свою больную память! Я намеренно бегу от этих, как ты выражаешься, «эпизодов», а они — за мной… Стоит чуть зазеваться — тут же попадаешь в их костлявые объятия…

— Ну как, Александр Петрович, вы согласны? Вы не бойтесь, всё это не за бесплатно…

Казанцев вспыхнул. Такое было ощущение, будто бы его окатили помоями. Дать бы тебе сейчас по морде за эти слова, подумал он, глядя исподлобья на режиссёра. Да за кого ты меня принимаешь? Неужто ты думаешь, я памятью буду торговать? Что бы тогда мои пацаны, будь они живы, на это сказали?.. В общем, дурак ты, парень, так дураком и помрёшь… Зря я, наверное, с тобой связался. Ушёл бы, да знаю, хорошее дело ты затеял. Ну кто сегодня про пацанов моих помнит? Да никто. А этот хочет всколыхнуть память людскую.

Только о чём же рассказывать? О том, как нас убивали? Или как мы убивали? Но это всё не то. За этим всем стоит великий порок, обыкновенные первобытно-пещерные драмы, а им хочется знать, что творится у человека в душе, когда он выходит из пекла. Им нужен психологизм, тот самый, без которого пустыми будут все эти жестокие сцены. Что ж, он готов поделиться с ними своей болью, только хватит ли у него сил? Ведь это же надо снова всё пережить. И вот вопрос — поймут ли они его? Ведь такое способны понять лишь те, кто хоть однажды побывал в его шкуре. Или у кого большое чуткое сердце…

…Их тогда «духи» крепко потрепали. Когда они пришли в горы, чтобы взять под контроль стратегически важный участок дороги, которым являлся перевал, их было больше двухсот штыков, а уже через месяц едва ли насчитывалась сотня. А вскоре и вовсе от батальона осталась жалкая горстка смертельно уставших и измученных в бесконечных схватках с противником бойцов. Нужно было пробиваться к своим, не то, глядишь, потеряют и остальных. А «духи» прут, словно саранча, и нет им числа. Разве устоишь?

Прежде чем уйти, решили послать вперёд разведчиков — те должны были найти надёжный путь к отступлению. На задание отправлялись впятером, а вернулись только двое. Трёх снайпер за перевалом положил, ещё один на мине подорвался. Живым и невредимым, если не считать лёгкого осколочного ранения в руку, остался лишь старший группы ефрейтор Сушков, который и притащил на себе в расположение батальона истекающего кровью товарища, белобрысого девятнадцатилетнего пацана, здорово смахивающего на портретного Есенина. Фамилию его Казанцев запомнил на всю жизнь — Боярышников.

— Ну что, старлей, пойдём глянем, что ли, как там наш раненый… — выслушав Сушкова, который, не успев ещё прийти в себя, путанно поведал им о том, что с ними произошло, предлагает Казанцеву комбат Лавриков, моложавый подвижный майор с ранней сединой на висках. Он прибыл в эти места год назад после окончания академии имени Фрунзе. Выглядел этаким благополучным и холеным — и куда всё это подевалось? Исхудал, зачерствел и заматерел. А разве не заматереешь, коли всю дорогу одни только бои, которым не было конца-края? То в горы идут «духов» громить, то оборону держат или же берутся сопровождать колонну грузовиков с провиантом, предназначенным для жителей какого-нибудь отдалённого аула. А тут приказ: выдвинуться в район горного перевала и занять там оборону.

Боярышникова они нашли в походном лазарете, которым служила изрядно потрёпанная на горных ветрах и вылинявшая до меловой белизны десятиместная армейская палатка. Возле раненого колдовал санинструктор Панин, рослый добродушный парняга с большими, как у мелькомбинатовского грузчика, руками. Бинты, которыми были замотаны обрубки ног, постоянно пропитывались кровью, поэтому их приходилось то и дело менять.

— Его бы в медсанбат отправить — здесь мы ему ничем не поможем, — обращается санинструктор к комбату. — Может, «вертушку» вызовете, а, товарищ майор? Не то… — Он как-то отчаянно машет рукой.

Глаза Лаврикова наливаются кровью. Ты что, парень, с луны свалился?! — хотелось крикнуть ему. — «Вертушку», видишь ли, ему подавай!.. А может, тебе ещё «Боинг» заказать со смазливыми стюардессами? Ты же знаешь, что это не пройдёт… Сколько раз уже пытались добиться от командования, чтобы им подсобили огнём с воздуха, на крайний случай, чтобы кто-то распорядился вывезти раненых, — бесполезно. Вам-де приказано стоять — вот и стойте. Когда придёт время, мы всё сделаем. И не бойтесь — мы вас в беде не оставим. Ну вот, пришло это время, когда у них и воевать-то уже некому, ну и что изменилось? Где эта обещанная помощь? Ну, народ! Вас бы на наше место! — рвёт себе душу комбат. — Ещё день-два, и всё будет кончено… Так чего же вы там ждёте? А может, вам этот перевал уже не нужен? Тогда скажите… А то мы его всё поливаем, поливаем своей кровью — сколько можно?..

Боярышников, несмотря на большую потерю крови, пытался держаться за жизнь, однако силы потихоньку покидали его, и он то и дело терял сознание. Когда же приходил в себя, тут же начинал тормошить Панина.

— Браток, а браток?.. Я сильно ранен? Жить-то, говорю, хоть буду? — в который уже раз спрашивал он его.

— Будешь, конечно, будешь… — утешал беднягу санинструктор. — Ещё на свадьбе у тебя погуляем.

— Правда?.. — белобрысый как-то вымученно улыбнулся. — Это хорошо… Только бы меня моя Наташка дождалась.

— Да куда она денется — дождётся… Ты же теперь у нас герой — кто ж от такого откажется?

На губах Боярышникова снова появляется что-то похожее на улыбку. Его мучила жажда, отчего он то и дело просил пить. Когда Панин подавал ему

кружку с водой, он с жадностью хватал её обеими руками, а потом долго не выпускал, делая громкие отчаянные глотки. Напившись, он вытирал рукавом окровавленной гимнастёрки пересохшие губы и на какое-то время закрывал глаза — будто бы наслаждался несколькими отпущенными ему минутами облегчения, а затем снова просил пить.

— Ну как ты, солдат? — подойдя к постели раненого, спрашивает комбат.

Увидев его, Боярышников встрепенулся.

— Да я ничего, товарищ майор… — пытается улыбнуться он. — Только вот ног не чувствую… Наверное, мне их взрывной волной перебило… — Он вдруг меняется в лице. — А может… — он облизывает пересохшие губы. — Может, их и в помине уже нет, а, товарищ майор? У меня сил нет, чтобы встать и поглядеть… Ну, скажите…

— Да целы, целы твои ноги… Я ж тебе сколько раз уже об этом говорил, — поправляя под головой Боярышникова подушку, опережает комбата Панин.

— Это ты говорил, а теперь пусть товарищ майор мне скажет…

— А что я могу сказать? Так оно и есть — ноги твои на месте… — нахально врёт майор, чтобы не вызвать у солдата истерику. Он помнит, как реагировали на правду предшественники Боярышникова. Такой душераздирающий вой стоял, что впору было убежать куда-то в горы и забыться. Ну а как иначе? Пацаны здоровыми уходили в армию, а тут вдруг — бац! — и они калеки… У кого ногу оторвало, у кого сразу две, а кто и без глаз остался… А им жить надо, влюбляться, создавать семьи, рожать детей… А кто-де пойдёт за нас, таких уродливых?.. Трагедия — да и только…

Белобрысый неожиданно хмурится.

— Целы, говорите?.. — он вздыхает. — Вот если бы я инвалидом стал, меня бы точно списали. А так ещё воевать придётся… — он снова вздыхает. — Хотя нет, это хорошо, что ноги целы… Лучше уж воевать, чем до конца жизни на инвалидной коляске круги по дому нарезать. Тогда точно моя Наташка меня бы бросила.

— Наташка?.. А кто такая Наташка? — Лавриков видит, что парень уже потихоньку уходит, что вот-вот — и он начнёт бредить, а там агония — и всё, но виду не подаёт.

— Это невеста его, — отвечает за раненого санинструктор.

— Ага, точно… — едва ворочая языком, подтверждает тот.

Лавриков делает удивлённое лицо.

— Ну а коль невеста — что ж ты тогда ей не веришь? Невестам верить надо, иначе что это за любовь?

Эти слова заставили санинструктора усмехнуться.

— А что, разве я не прав? — заметив это, спрашивает комбат.

— Да всё правильно, товарищ майор, — шмыгнул носом Панин. — Только вы по-книжному судите, а в жизни всё по-другому. Вот взять меня. Не успел я в армию уйти, как моя… — в этом месте он запнулся. — ...Как моя любимая, с которой я дружил с самого детства, тут же нашла себе другого. А ведь мы с ней уже планы совместные строили… Да я ради того, чтобы она была рядом, даже в медучилище вместе с ней поступил, хотя мечтал стать автомехаником!

Майор понимающе кивнул головой.

— Всякое бывает в жизни, солдат, — проговорил он. — Главное, что не ты её предал, а она. Так вот пусть она и несёт в себе этот грех всю свою жизнь. А ты живи светло. Ты заслужил…

— Вот и я боюсь, что Наташка моя меня не дождётся, — уже совсем тихо проговорил Боярышников. Неожиданно он начинает часто и хрипло дышать. — Товарищ майор… Вы слышите меня? — переходя на шёпот, зовёт он комбата.

— Слышу… слышу, сынок, — отзывается тот. — Ты лежи, лежи… Тебе сил набираться надо.

— Да, хорошо… Только… Товарищ майор… вы уж простите нас… Ну, за то что мы не смогли выполнить ваше задание… Подвели мы вас. А вы, наверное, надеялись… И как это я не заметил растяжку?.. Так громыхнуло, что до сих пор в ушах звенит. Мина, видно, была…

— Да-да, мина… Но ты не виноват. Эти «духи» такие изобретательные… А вы молодцы! И ты, и Сушков, и твои погибшие товарищи…

— И всё равно я виноват…

— Да Бог с ним! Ты лечись. Вот выздоровеешь — тогда и поговорим… — У майора в глазах слёзы. Он знает, что другого раза уже не будет и что это их последний с Боярышниковым разговор. Смотрит он на солдата — и сердце у него разрывается от жалости.

Панин легонько дотрагивается до плеча комбата.

— Боюсь, не дотянет он до утра, — шепчет он ему.

— Не каркай! — шипит на него Ларин. — Ещё не известно, кто кого переживёт. Это же война — или ты забыл?

Панин заморгал глазами. И в самом деле, что это он раскаркался? Хотя что тут скрывать — парень и впрямь на ладан дышит.

— Его бы в санбат, — снова пытается Панин напомнить командиру о вертолёте. — А тут он точно помрёт…

— Цыц!.. Ну, ты что, герой? Что, спрашиваю, молчишь? — обращается комбат к раненому.

Тот медленно поворачивает к нему голову.

— Товарищ майор, ну почему… почему я не чувствую ног? — снова начинает допытываться он у комбата.

— Потому что так всегда бывает при ранении… — не зная что ответить, ляпнул тот.

— Да?.. Вы правду говорите?

— Я это просто знаю…

— Ну вот… А я думал, маму скоро увижу… Ну как же, коль нет ног — какая, к черту, армия... — совсем-совсем тихо произнёс солдат.

Бедняга, в полубреду он забыл, что ещё каких-то пару минут назад он уже мучился этим вопросом. Но, наверное, иное ему просто не шло в голову.

— Да говорю же, на месте твои ноги, — снова пытается майор успокоить пацана.

Тот удовлетворённо хлопнул своими белёсыми ресницами.

— Это хорошо… Не то Наташка… Да и мама… Ну а как работать без ног?.. И вообще…

У парня вдруг потухли глаза и речь стала бессвязной, а потом он и вовсе стих. Панин пощупал у него пульс.

— Всё, умер… — заученно произнёс он, потому что ему по нескольку раз в день приходилось повторять эту фразу.

Ларин с Казанцевым сняли фуражки. Вроде уже привыкли к смертям, а тут слёзы у обоих навернулись на глаза. Уж так им было жалко этого белобрысого пацана, так обидно за то, что он никогда больше не увидит свою Наташку, что плакать, да нет — выть хотелось. Так, как воют брошенные хозяином голодные и впавшие в отчаяние псы. Ну, что ж ты, парень, а? Что ж ты так?.. Жить ведь надо было, жить… Сколько там тебе было, двадцать? А кто ж в двадцать-то умирает? Нет, неправильно это… Это, если хочешь знать, противоречит всем законам природы…

Немного постояли так, с закрытыми глазами, возле тела бойца, а потом ушли. Через полчаса комбат вызвал к себе ротного. Оказывается, он только что переговорил по рации со штабом дивизии и ему пообещали прислать вертолёт.

— Да, старлей, да!.. Хочешь верь, хочешь нет, но мне всё-таки удалось достучаться до совести наших начальничков, — не скрывает он своей радости. — Сказали, к вечеру будет нам «вертушка».

Казанцев даже рот открыл от неожиданности.

— Наконец-то! — на его губах появляется счастливая улыбка. — Выходит, всё, отвоевались?

Комбат покачал головой.

— Должен тебя огорчить… Заберут только раненых.

Казанцева эти слова приводят в недоумение.

— Вы шутите? Да где ж их, раненых-то, взять? У нас, кроме нескольких живых, одни лишь убитые, да и те уже в земле лежат… — говорит.

— Будем отправлять «груз 200», — глухо произносит комбат и начинает шарить в брючном кармане в поисках сигарет. Вспомнив, что сам накануне приказал бойцам экономить курево, плюнул и выматерился. — Я это про Боярышникова говорю.

Он берёт в руки бинокль и по привычке начинает изучать окрестности. Отсюда, из укрытия, что находится высоко в горах, хорошо просматриваются дали. Здесь бойцы майора Лаврикова и держали оборону. Место самое подходящее. С тыла батальон не обойти, потому как там была глубокая пропасть, так что наступать боевикам приходилось со стороны лощины, которая хорошо простреливалась. И только превосходство их в живой силе да дикое упорство, с каким они рвались на перевал, заставляло русских нести большие потери. Ведь как бывало… Не успеешь отбить одну атаку, как «духи» снова бросались в бой. Когда и эта волна захлебнётся, на смену ей придёт другая. А порой, обкурившись анаши, боевики вставали в полный рост и, превратившись в огромную, сметающую всё на своем пути лавину, с дикими криками устремлялись вперёд. И тогда долго окрест гремели взрывы и слышался нескончаемый треск

автоматных очередей. Это «шурави» пытались остановить потерявших всякий страх «воинов Аллаха».

Старлею ничего не остаётся, как тоже прильнуть к окулярам.

— А как быть с сопровождающими? — рассеянно глядя вдаль, спрашивает он у комбата. — Людей ведь и без того раз-два и обчёлся…

— Без сопровождающих нельзя, — говорит майор. — Это как-то не по-человечески. Ведь там родители будут. А им нужно будет что-то сказать в утешение. Ну а кто скажет лучше, чем тот, кто с их сыном воевал?

Казанцев усмехнулся.

— Не завидую тому, кто повезёт этого парня. Лично я сквозь землю бы провалился… Ведь старики обязательно спросят, кто виноват в том, что их сын погиб. И что им говорить?.. То, что какой-то там генерал помощь нам не прислал? Но они генерала того искать не будут — обвинят того, кто ближе. Скажут, почему, гад ты такой, нашего сына не уберёг? Нет, увольте…

— А что «увольте»? Вот ты и повезёшь его… — неожиданно заявляет майор.

Услышав это, Казанцев чуть было бинокль не выронил из рук.

— Как?.. Этот боец не из моей роты! — восклицает он.

— Знаю… Но в его роте не осталось ни одного офицера. Так что будь готов, — не отрываясь от окуляров, произносит майор.

— Но есть ведь сержанты! — пытается сопротивляться Казанцев. — А я здесь нужен. Здесь! Неужто я вас оставлю?

— Там ты больше будешь нужен, — говорит майор.

— Нет… здесь…

— Здесь всё кончено. Ещё немного — и «духи» выбьют нас отсюда.

— Тем более я не должен вас оставлять!..

Комбат наконец отрывает глаза от окуляров.

— Слушай, Казанцев, пока что я здесь за старшего, а ты мой подчинённый. Так что изволь подчиняться… — И тут же вдруг по-доброму: — Послушай, Коля, судьба распорядилась так, как распорядилась. Кто-то должен сохранить о нас память — ты меня понял? А ты мужик совестливый, ты эту память сохранишь. Так что давай, навостряй лыжи… Скоро прибудет вертолёт…

Что ж, коль приказано — нужно выполнять. На «чёрных тюльпанах» старлею ещё не приходилось летать — так что, как говорится, это будет для него премьерой. К тому же десять суток, которые комбат дал ему на всё про всё, станут для него некоторой отдушиной, той заработанной честным путём наградой, которая есть превыше всех наград на свете. Потому что нет ничего дороже, чем живым вернуться с войны. Пусть на день, пусть на час, но вернуться…

…Городок, куда старлей с двумя своими помощниками доставили тело погибшего, имел статус узловой станции, где в бесконечной сутолоке дней под лязг и грохот вагонов формировались железнодорожные составы, лихо посвистывали трудяги-тепловозы и трезвые дядьки из вагонного депо с чумазыми от мазута лицами не спеша и терпеливо зарабатывали свой трудовой стаж.

Был субботний июльский вечер, когда после трудовой недели жизнь этого рабочего городка заметно сбавила обороты и обрела относительный покой. Провинциальная идиллия, где лишь редкое шуршание автомобильных шин на дороге нарушит образовавшуюся тишину да где-то вдалеке отчаянно прокукарекает очумевший от духоты петух.

Оставив бойцов караулить на станции «цинк», Казанцев в сопровождении встретившего их здешнего военкома, толстого, страдавшего одышкой капитана, отправился по нужному адресу. Шли молча. Правда, вначале капитан попытался было разговорить этого угрюмого старлея с чёрным, как головешка из костра, лицом, но когда понял, что тому в тягость общение, отстал. Видно, досталось парню в этих горах — вот и потерял всякий интерес к жизни. Глянешь на него — не человек, а какое-то привидение с глазами, полными тоски. Да от него за полверсты бедой веет. Прохожие тревожно оборачиваются на него — будто чуют неладное. Да так оно и есть. Не к тёще идёт на блины — печальную весть людям несёт.

Возле нужного дома капитан остановился.

— Здесь, — говорит.

Дом как дом, каких в провинции немало, и все они похожи друг на друга. Пять этажей, сложенных из белого силиката, тесные, заставленные барахлом балкончики, внизу возле каждого подъезда что-то похожее на цветочные клумбы, и эти обычно поломанные местным хулиганьём лавочки, на которых по вечерам любят посидеть старушки.

— Прощу прощения, гражданочки, — завидев двух бабулек, успевших к этому времени занять наблюдательный пункт у входа в один из подъездов, обращается к ним военком. — Не подскажете, как нам найти Боярышниковых?

Те с любопытством осматривают с ног до головы пришлых. Удостоверившись, что люди это государственные, тут же выказывают своё расположение к ним.

— А вон, слышите, музыка гремит? Вот там они и живут, — указывая глазами куда-то вверх, проговорила на вид ещё крепкая старушенция с непокрытой головой, своими кривыми и чёрными от времени пальцами, похожими на корни старого дерева, сжимавшая самодельную клюку.

— Да, да, сынки, точно там… Галина Батьковна и муж её Сашка… Там… — подтвердила вторая, маленькая сухонькая мышка, голова которой была туго завёрнута в скромный ситцевый платок.

Из открытого окна пятого этажа и впрямь барабанными раскатами вырывалась шальная мелодия, которую пытались перекричать хмельные голоса.

— Ну что, пошли? — говорит капитан, обращаясь к Казанцеву, и первым входит в подъезд. Старлей нехотя следует за ним. Неожиданно он останавливается.

— А что это у них там за праздник? — решил вдруг поинтересоваться он у бабулек.

Те переглянулись.

— Вроде как что-то справляют… Не юбилей ли Галкин, а, Зин? — спрашивает товарку та, что с клюкой.

— Ну да, он самый… Они ж цельную неделю к нему готовились, — говорит сухонькая мышка. — А весёлые какие были! Так и светятся счастьем, так и светятся…. Я ещё подумала: хорошо людям, радоваться умеют, а мне, старой, уже и радость не в радость...

— Значит, юбилей?.. — с каким-то отчаянием переспросил Казанцев.

— Юбилей, юбилей, сынок… — кивнула ему бабулька в платочке.

И заныло у старлея сердце. Он готов был плюнуть на всё и бежать куда подальше, только бы не видеть, как разорвётся сердце бедной матери. Ничего себе подарочек они ей приготовили на юбилей! Да она вовек им этого не простит. Проклянёт, как пить дать, проклянёт… И поделом! Они ведь, матери, живыми сыновей провожают в армию, при этом надеются, что там они не пропадут, а тут им в «цинке» их возвращают. Страшно!..

— Слышь, капитан, может, ты без меня пойдёшь? — с надеждой смотрит на военкома старлей. — Ну не могу я, понимаешь?

— А ты смоги! — нахмурив брови, говорит тот. — Поди, твой человек, не мой…

«Твой», «мой»… — обжигает его взглядом Казанцев. Все они наши, понятно? Пригрелся, понимаешь, в своём военкомате, а мы гибни там в этих горах!.. Нет бы взять на себя хотя бы часть наших забот, к примеру, вот эту проклятую миссию, чтобы матерям дурные вести приносить, так ведь ещё артачится! А не ты ли, сукин сын, призывал этого Боярышникова в армию? Ты, конечно же, ты. Значит, и ответ тебе держать. Вот иди теперь и оправдывайся…

Однако пошли они, как и положено, вместе. Когда они поднимались на пятый этаж, Казанцев то и дело замедлял шаг, стараясь хоть на мгновение отодвинуть тот страшный миг, когда он лицом к лицу встретится с матерью убитого. А ведь ему ещё нужно было найти какие-то проникновенные слова, которые он должен будет сказать этой женщине. А они никак не шли ему в голову. Отвык он, знаете ли, от сантиментов, вот и вся причина…

На стук из дверей вышла улыбчивая девчушка-подросток. Вам, мол, кого?

Офицеры молчали — вроде как собирались с духом.

— Нам бы Боярышникову Галину Ивановну… — первым заговорил военком.

— Ма-ам!.. К тебе! — позвала девчонка.

Вскоре в дверях показалась светловолосая моложавая женщина в нарядном платье с подносом в руках, на котором, весь утыканный ещё незажжёнными сорока свечами, ждал своего часа большой праздничный торт. Ей не надо было даже ничего объяснять. Только встретилась глазами с этим худым прожаренным на горном солнце старлеем — и всё поняла…

Дальнейшее происходило, словно в замедленном кино: вначале, соскользнув с подноса, широко поплыл в воздухе торт, вслед за ним стала неуклюже и медленно опускаться на пол хозяйка, которую тут же подхватили чьи-то сильные руки. У Казанцева потемнело в глазах, поэтому до сих пор он ту картину видит только в чёрно-белом цвете. Кто-то что-то там кричал, кто-то просил выключить музыку… Всхлипы, причитания, мужские свирепые вздохи.

Потом их усадили за стол. Народ как-то разом отрезвел, а на голове Галины Ивановны появился чёрный платок. Глаза её, потемневшие вдруг и потерявшие праздничный блеск, были пустыми, словно высохший старый колодец. Она глядела перед собой и ничего не видела.

— Ну, помянем, что ли, Мишку? — предлагает кто-то из гостей.

Казанцев опешил. Выходит, Мишкой звали того белобрысого пацана? А он-то даже и не подумал о том, что у него есть имя. Боец да боец. Как сотни других, кого ему пришлось хоронить в горах.

Как и полагается в таких случаях, пили стоя.

— Ну а ты, Ивановна, что не пьёшь? Выпей — полегчает… — говорит несчастной какая-то женщина.

А та даже не встала. Ей бы бросить всё и бежать к родному сыну, а у неё сил нет. Сидит и не отрываясь глядит в одну точку.

— И правда, выпей, Галь, — суёт жене стакан с водкой муж. — Не порядок это…

А та вдруг отводит его руку в сторону и говорит:

— Пока не увижу сына мёртвым, он для меня живой…

И всем вдруг стало стыдно за себя. И в самом деле, что это они вдруг? Слова ведь так и останутся словами, пока им не найдёшь подтверждения.

— Слышь, братки, а вы ничего там не перепутали?.. — с надеждой смотрит на офицеров деповский работяга Сашка Боярышников, высокий, далеко ещё не старый мужик с непослушным пшеничным вихром на голове. До него пока что не до конца дошёл весь трагический смысл происходящего, и оттого он не взвыл от горя. А ведь взвыл бы… Что ни говори, а Мишка для него был всем на этом свете. — Это точно, что наш сынок погиб?

Те скорбно закивали ему в ответ. Дескать, что уж, так оно и есть.

— Мать, ты слышала? Сынок наш погиб… — положив руку на женино плечо, как-то нетвёрдо произносит Сашка.

Та вдруг встрепенулась и перевела свой взгляд на Казанцева. Ну как же так?.. — прочитал он в её больных измученных глазах.

Старлей уже тысячу раз проклял себя за то, что согласился сопровождать покойника, а сейчас и вовсе готов был провалиться сквозь землю. Да, вот так… Поймав взгляд женщины, пожал он плечами. Вы же тут живёте и ничего не знаете. Ходите на работу, слушаете музыку, веселитесь, едите от пуза, а там, в горах, идёт война. Вот и выходит, что мы живём на разных планетах. Вы на одной, мы на другой… Тогда о чём говорить?.. А тебя, женщина, мне жалко. И мужа твоего жалко. Ведь вы же ни сном ни духом не знали о том, что отправляете сына на ту самую другую планету, откуда не все возвращаются…

Женщина глядела на него напряжённо и взволнованно. Будто бы читала его мысли. Когда он закончил, бледное, без единой кровиночки лицо её вдруг покрылось красными пятнами. Она смежила веки — дескать, спасибо тебе, офицер, за правду. Потом вдруг попросила, чтобы муж подал ей стакан с водкой. Выпив до дна, она утёрла рукавом губы и, даже не закусив, произнесла:

— Ну, а теперь берите цветы и пошли встречать нашего Мишеньку! Какой же он молодец — аккурат к юбилею матери своей вернулся…

Казанцев, подхваченный людским порывом, тоже поспешил на станцию, где в цинковом гробу дожидался своих родителей рядовой Боярышников. И было непонятно, то ли это всё во сне с ним происходило, то ли наяву. Какой же это страшный мир, думал он, где всё происходит не так, как надо. Где мёртвых встречают с цветами, а живых хоронят заживо.

…От горьких воспоминаний Казанцева отвлёк голос режиссёра.

— Ну так как, товарищ подполковник, есть вам что рассказать нам, детям бестолковых скучных будней? — спрашивает он.

Казанцев смотрит на него, как на космического пришельца.

— А поймёте ли вы меня? — неожиданно говорит он. — Мы же с вами с разных планет…

Филиппов усмехнулся.

— Вы это о чём? — спрашивает.

— Да всё о том же, о жизни, — был ответ.

— И всё-таки?

Казанцев вздохнул.

— Ну, вы хотя бы знаете, что такое «груз 200»?

— Так, в общих чертах… — признаётся режиссёр.

— Значит, вы счастливый человек, — хлопнул его по плечу подполковник. — А я этот груз всю свою жизнь в себе несу. И буду нести, пока не упаду… Вы хотите знать, что я при этом чувствую? Пустоту. Ту, что я увидел когда-то в глазах одной женщины, потерявшей сына. А таких глаз сегодня полно кругом. Оглянитесь, и вы увидите то, что нам оставила в наследство война. А коли не увидите — это ваша беда. Значит, и впрямь мы с вами на разных планетах живём.